

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

1.

Пускай – нехоленая,
пускай – больная,
зато – намоленная,
родная.

2.

Сколько боли она от нас терпит –
плачет, стонет и криком кричит.
Час придёт... Никого не отвергнет,
примет всех... И, как мать, простит.

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Правда в том, что Непрядва была,
и дружины здесь насмерть стояли,
погибали и воскресали.
И стрекочут опять до утра
на лужайке былинной цикады.
Ивы в омуте отражаются.
И небесное войско сражается,
чтоб потомки не знали неправды.

ДЕТСТВО. КРЕЩЕНИЕ

1.

По сусекам поскребу
памяти: авось, найдётся
светлое и дорогое –
от чего замрёт душа.

Напрягаюсь – только детство
выплывает... Неужели
я потом ещё полвека
прожил – нету и следа?

Что-то было же! Наверно.
Но, увы, не зацепилось
так, как солнечный воскресный
день и золотистый храм.

2.

Бабушка за руку держит.
Батюшка на шею крестик надевает:
– Ну, отныне
твой отец – Иисус Христос.

Я похвастаюсь, конечно,
Тольке – пусть не обзывает безотцовщиной.
Его-то
батя – форменный алкаш.

Называют так в округе,
хоть дядь Гриша безобидный:
как напьётся — распеваёт
про матроса-кочегара.

Он и сам пообгоревший:
танк под Курском подпалили,
ранен был, но жив остался...
И Толяна вон родил.

Медный крестик на минутку
дам дружку — пускай поддержит:
может быть, мой новый папа
пожалует и его.

* * *

А в распадке — голубица,
и на мари — голубица.
Собираю, загребаю
ягодки ладошками...
Это детство снится, снится...
Тяжелеют на ресницах,
щиплют веки нестерпимо
слёзы, вновь непрошенные.

Неужели было это?
Щедро раздавало лето
пацанве послевоенной
все свои богатства
поровну — и не монеты,
а закаты и рассветы,
и надежду, что однажды
папы возвратятся.

ИВАНУШКА

Придавило в темнице,
Засыпало
Так, что не продохнуть!
Силы я соберу —
Буду сызнова
Пробивать к свету путь.
По песчинке, по камушку
Растаскаю завал.
Кто сказал, что Иванушку
Змей Горыныч сожрал?!

Соседу известно доподлинно,
что мирный атом — враньё,
поскольку любимая Родина
в Чернобыль послала его.
Теперь он кровью отхаркивает
почти уж тридцать лет,
а в общем, весёлый характером,
гитарит, мол, смерти-то нет:
врачи обещали, но, видимо,
Бог по-иному решил,
не хочет Он, чтоб небожителем
раб облучённый был —
ещё заразит ненароком
Ангелов и, может быть,
тогда, как героям убогим,
гробовые им станут платить...

А это стране накладно.

АФГАНЦЫ

Николаю Лутюку

1.

В деревенской баньке
чужой, но такой приветливой,
дышащей не то, что теплом, а жаром,
считаю на торсе мужицком отметины,
слочно ширяли кинжалом.
А он, замечая взгляд мой пытливый,
говорит, опережая вопрос:
— Это Афган. Я стал там счастливым —
до своих дополз.
Пять пуль, но удачно — навывает,
был на дуршлаг похож...

Напарившись,
он отчаянно бросается в снег —
как вывод
советских войск.
А меня пробивает дрожь.

2.

Вован Тарасов
выполняет муниципальный заказ —
отстреливает бродячих собак.

В кармане гуманный боезапас –
патроны, усыпляющие бедолаг.
Но псин бездомных не становится меньше,
как душманов в Афгане.
Бывший десантник
жалеет их по-человечьи,
но надо же зарабатывать на существование
себя, семьи
в эти времена жестокие.
Правда, он всё чаще промахивается,
потому что глаза за толстыми стёклами
очков
слезятся, дыхание сбивается,
когда померещится вдруг –
в прицеле погибший друг.

3.

– Может быть, тот, в кого я стрелял,
Омаром Хайамом бы стал,
а тот, в кого он, стал бы Пушкиным. –
Костя Воронов замолчал,
словно на миг вернувшись
туда, где памятью навсегда остался, –
в чужие горы, в чужую страну,
в непонятную для него войну:
– Был приказ – и я честно сражался.

А заслуженные медали
к пиджаку он не примеряет,
в шкатулке
с арабской вязью на крышке
хранит.
Порою откроет, посмотрит –
и сердце опять заболит...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

... Пошёл по берегу реки.
Чернеющие топляки
Ныряли в омуте пугающе.
Стеной стояли тальники,
Ветвями, как со злой руки,
Хлестали – явно не товарищи.

Его никто не узнавал.
Сыч потревоженный рыдал,
В чащобе схоронясь дремучей.
Кузнечики из-под сапог

Выпархивали, а сурок,
Завидев, усакал по круче.

И только солнце, словно мать,
Вело за руку через гать,
Всё напрямки, тропой невидной.
Вот здесь, за этим бугорком...
Ещё немного... Отчий дом,
Колодец и журавль длинный.

Теперь вдоль яра повернуть!..
Но почему сдавило грудь?
Не выдохнуть рыданий даже...
Крапива вымахала в рост,
Где бегал босиком, где рос.
Остался от села погост,
Да разве он о чём расскажет...

ФРОЛ

*С таким именем
великих поэтов не бывает.
Из статьи*

Если слава есть отравя,
то безвестность, что ли, мёд?
В деревеньке захудалой
малахольный Фрол живёт.
Днём заботы по хозяйству:
куры, гуси, огород.
Вечерами – нет, не пьянство, –
вдохновение он ждёт.
Над тетрадкою склонившись,
рифмы подбирает он,
сна, спокойствия лишившись.
Да какой же к бесу сон,
если в «Знамени», районке,
напечатали стишок,
и сосед, как критик тонкий,
прогудел: « Ну, Фрол, ты – Блок!»
И не знает он, наивный,
хоть разбейся в доску тут,
что с таким крестьянским именем
стать великим не дадут.

Пытаюсь вкрутиться

в толерантное общество,
а оно сопротивляется,
не желает меня принимать.
Ну и ладно! Не больно-то хочется!
Лучше в рощице погулять.

Почки лопаются, раскрываются.
Листья нежные. Запах пьянящий.
Здесь хотя б на мгновенье покажется:
я не винт, человек настоящий!..
Вот и солнышко мне улыбается.

* * *

— Что позабыл ты в храме старом?
Что там узнаешь и узришь?
Не лучше ли рычащий телек
врубить и, бросив на диван
к ненастью ноющие кости,
смотреть, как кто-то и кого-то
обжулил, грохнул, закопал?

— Вот-вот, там жизнь и смерть не стоят
гроша, всё в долларах и евро.
А здесь, на паперти, копейке
порадуется инвалид:
на хлебушек он наберёт,
а повезёт — и на чекушку.
Мне ли судить? Подам... Быть может,
помолится и за меня.

СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ В РЯЗАНИ

Ступеньки гранитные в небо вели,
Теперь опускаются в недра земли.

И свет заревой об оконца,
Как алая бабочка, бьётся.

И свечи горят. И святые глядят,
Молчанием истины мне говорят.

Трудник Александр
больше ничего не желает,
втайне радуясь,
снег лопатой сгребают.
Ишь, сколько нынче его намело —
до боли в глазах бело!

Далеко-далеко мирские заботы,
словно никогда и не было.
Хорошо смотреть в бездонное небо,
посветлевшее от позолоты
куполов, которые отражаются
в пенистых облаках.
Приморившемуся труднику кажется,
он сам воспаряет в мечтах
туда, где простятся ему прегрешения.
Опускается на колени
и молится, как умеет, —
и на душе теплеет.

Рассказанное выше
едва ли можно назвать поэзией,
как бытие Александра
единственно верным назвать,
но, пожалуй, ещё бесполезнее
жизнь просто так проживать.

ПЕРО ГОГОЛЯ

На кончике пера застыло время.
Когда-то докумекает наука,
заставит говорить чернила — и,
засохшие, поведдают, чем жили
герои «Мёртвых душ» в сожжённом томе,
любил их Гоголь или презирал,
похожи ли они на нас, узнаем —
и удивимся или ужаснёмся.

* * *

Юрию Перминову

До зари ещё петухи
(вот заразы!) орут на селе
в перекличку... Пишу стихи
немудрёные. А в синеве

солнце символом света восходит,
ветер в старом саду колобродит,
пахнут травы пьяняще. Лежу,
пчёлку слушаю: — Жу-жу-жу.

Эй, горланьте сильнее, петухи!
Жить — прекрасно! Не мнится, не кажется...
А заумные наностихи
в пыльном городе насочиняются.

* * *

«Счастливей ветер дует в паруса», —
писал когда-то отрок синеглазый.
На берегу Амура он сидел,
в тетрадке школьной рифмы подбирая.
Придумывал себе судьбу и верил,
что явью станет вымысел, когда
он повзрослеет и поэтом будет —
пусть не великим, но и не последним
в стране, где даже бабушки на лавках
стихи Асадова читают вечерами.

Сбылась мечта. Он книжек настрогал
поболее десятка. Но однажды
негаданно-нежданно той страны
не стало... А согбенные старухи
теперь всё больше говорят о ценах,
о пенсиях, которых не хватает
на хлеб насущный... Стыдно признавать
ему теперь, что посвятил он жизнь
маранию бумаги... Лучше б сеял,
пахал или хотя бы научился
чинить краны — который день на кухне
вода течёт, как вирши графомана.

* * *

Я хотел бы остаться на этой земле,
а не где-то в пространстве небесном
пребывать, потому что куда интересней
и прекрасней смотреть, как сады по весне
расцветают, чем звёзды считать — не мои
всё равно, хотя, может быть, тоже
с ними я породнюсь... Но роднее земли
ничего быть, конечно, не может.

